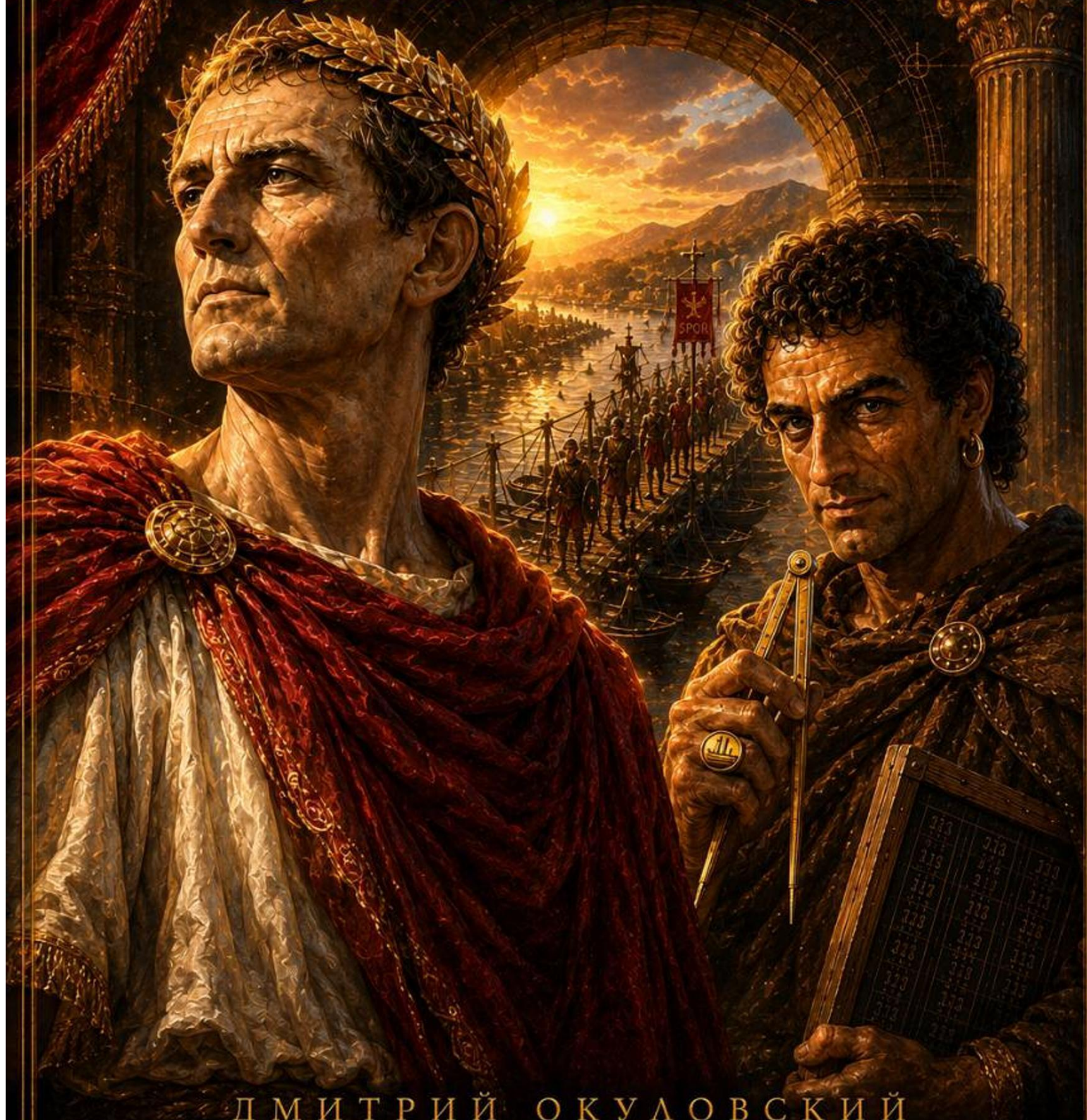




ИНЖЕНЕР ЦЕЗАРЯ

МОСТНИК



ДМИТРИЙ ОКУЛОВСКИЙ

Дмитрий Окуловский
Инженер Цезаря

«Автор»

2026

Окуловский Д.

Инженер Цезаря / Д. Окуловский — «Автор», 2026

Я инженер. Всю жизнь строил цеха, склады и дороги, а потом выбивал из заказчиков деньги за сданное. С последним не повезло: деньги он так и не отдал, а моё сердце остановилось прямо у него в кабинете. Очнулся я в Испании, в 61 году до нашей эры, в шатре римского лагеря. Теперь я Луций Корнелий Бальб: пуниец с серьгой в ухе и доверенный человек Гая Юлия Цезаря. Начальство мне досталось непростое. Цезарь должен кредиторам двадцать миллионов сестерциев. Лузитаны сожгли за собой лодки, а мост через реку ему нужен к рассвету. От памяти Бальба остались обрывки, а сам Бальб в жизни плота не связал. Одно неверное слово – и меня раскусят.

Содержание

Глава 1. Мост к рассвету	5
Глава 2. Мостник	12
Глава 3. Два кармана	18
Глава 4. Цена	24
Глава 5. Восемьсот тридцать талантов	30
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Дмитрий Окуловский

Инженер Цезаря

Глава 1. Мост к рассвету

Заказчик держал акт двумя пальцами, как дохлую мышь.

– Виктор Андреевич, вы же взрослый человек. Закроем квартал – заплатим.

– Квартал вы закрыли в сентябре, – сказал я. – Склад приняли в июле. Подпись ваша, печать ваша, крыша не течёт. Сорок один миллион двести.

– Сорок один. Двести мы с вами обсуждали.

– Мы обсуждали, когда вы их заплатите.

Он вздохнул и посмотрел в окно. На парковке стоял его новый джип, чёрный, ещё с транзитными номерами. Тридцать лет я строил чужие цеха, склады, водоводы и дороги, и за тридцать лет заказчики не придумали ничего нового. Сначала у них нет денег. Потом у них форс-мажор. Потом у них новый джип.

– У нас форс-мажор, – сказал он.

Я открыл папку. Там лежали акты по каждому этапу, письма, которые он подписывал не читая, и одна бумага, которую он подписал, читая очень внимательно, потому что в ней стояла неустойка. Её я положил сверху.

– Одна десятая процента в день, – сказал я. – С июля. Хотите, посчитаю за вас? Я сегодня добрый.

Он побледнел. Я тоже, только по своей причине.

Боль пришла из левой руки, будто за рукав потянули, и поднялась в грудь. Я знал, что это. Врач говорил мне про это с весны, а я отвечал, что после сдачи объекта. Объект я сдал. Стол поехал вбок, ковролин ударил в щёку, от него пахло чужими ботинками. Я успел подумать, что теперь этот человек не подпишет ничего ещё год.

Последней я видел папку. Она лежала возле его ботинка, раскрытая на неустойке, и никто её не поднимал.

Сорок один миллион двести. Так и не заплатили.

* * *

Пахло мокрой шерстью и дымом.

Надо мной провисала кожа – светлая, в швах, с тёмным пятном там, где в неё долго капало. Шатёр. Сквозь щель у входа шёл серый свет, в полосе света кружили мухи. Снаружи ругались, кашляли, ржала лошадь, кто-то бил молотком по дереву, сбиваясь с ритма. И ни одного мотора.

Я поднял руку потереть глаза и не узнал руку.

Она была смуглая и моложе моей лет на пятнадцать. Пальцы длинные, ногти обрезаны коротко и чисто. На среднем – твёрдый бугорок, какой бывает от ручки у бухгалтеров и школьников, и под ним вьёвшееся чёрное пятно. На безымянном – перстень, в камне вырезан корабль. Я сжал кулак и разжал. Мои ладони были в мозолях, твёрдые, как пятки. Эта ладонь лопату не держала ни разу. Эта ладонь держала перо и чужие деньги.

Я сел. Голова поплыла, потом встала на место. Тело было лёгкое, сухое, и сердце в нём стучало спокойно. Я ощупал себя: что на месте, чего не хватает. Колени целы. Живота, который я наедал двадцать лет, нет. Волосы густые, жёсткие, курчавые. Левое ухо тянуло вниз; я

потрогал и нашёл серьгу, тяжёлое кольцо. Серёг я в жизни не носил. На поясе висел кошель толстой кожи, и, когда я его тронул, он ответил звоном.

Скажу честно: первым делом я подумал про деньги. Вторым – что умер. Порядок мне самому не понравился, но врать вам хотя бы в начале не стану. Потом, может, и совру.

Полог откинулся, и вошёл старик с охапкой одежды. Невысокий, широкий в кости, в некрашеной тунике, волосы чёрные, и у виска одна седая прядь, будто мазнули известью. Он увидел, что я сижу, и охапка поехала у него из рук.

– Господин! Встал. Хвала Мелькарту, встал.

Сказал он это не по-русски. Я понял каждое слово. Хуже того, я знал, что это за язык, так, как знаешь, где у тебя левая рука: пунийский. И ответил на нём же, раньше, чем успел испугаться:

– Голова.

– Голова, – закивал старик. – Ты упал у реки. Лекарь сказал – солнце. Какое солнце, говорю, весна, вода кругом. Он грек, ему лишь бы сказать.

Я лёг обратно и застонал. Получилось убедительно: голова и правда гудела.

Правило простое: хочешь узнать, что случилось, – молчи. Люди не выносят тишины и сами всё расскажут, ещё и с подробностями, которых ты не просил. Старик тишины не выносил совсем. Он подобрал одежду, встряхнул тунику, положил её мне в ноги и говорил, не переставая.

Наместник присылал дважды. Лузитаны ночью ушли за Дурий, с жёнами, с детьми, со скотом, и сожгли за собой лодки, какие нашли. Река поднялась, вода бурая, несёт деревья. Мастера на закате ставили плоты, два унесло, Лутаций ругался до хрипоты. Гай Юлий спрашивал, где Бальб. А Бальб лежит, как рыба на солнце, а старик бегает между шатрами и ври, что господин молится.

Бальб.

Имя ударило изнутри. Двор с колодцем, каменные ступени горячие под босыми ногами, женский голос зовёт «Луций!», и пахнет солёной рыбой так густо, что хочется чихнуть. Всё это пришло толчком и ушло, оставив гул в ушах и мокрую спину. Я лежал и держался за край лежанки.

Ладно, сказал я себе. Давай по пунктам. Что имеем: тело молодое, здоровое, с серьгой. Язык знаем, похоже, не один. Деньги звенят. Наместник Гай Юлий, лузитаны, река Дурий. Дуэро, понял я наконец. Я был однажды в Порту, пил там портвейн. Значит, Португалия, только португальцев пока нет.

Гай Юлий в Испании. Я не историк. Про Цезаря я знаю то, что знает любой, кто хоть раз смотрел кино: перешёл Рубикон, пришёл, увидел, победил, зарезали в сенате. Когда зарезали и сколько ему ещё до этого жить – понятия не имею. Нет, вру. Мартовские иды знаю. Месяц знаю. Год – нет.

А что не имеем? Не имеем понятия, кто такой Бальб, кто его друзья и сколько он должен. Это и было главное. Думать об этом прямо сейчас я не стал.

– Сколько я лежал? – спросил я.

– С полудня. Скоро первая стража. – Старик прищурился. – Ты как-то странно говоришь, господин.

– Голова, – сказал я.

– Голова, – согласился он, но смотрел ещё секунду дольше, чем надо.

У входа звякнуло железо, и в щель сунулся солдат в мокром плаще.

– Бальб! Наместник зовёт. Сейчас.

– Он болен, – начал старик.

– Наместник сказал, что болеть можно потом, Абдмелькарт, – ответил солдат и исчез.

Абдмелькарт. Значит, так зовут старика. Одно имя есть.

Старик поднял меня, надел на меня тунику почище, застегнул плащ на плече фибулой и долго поправлял складку, хотя она лежала правильно. Я сделал вид, что меня шатает. Он подставил плечо, твёрдое, как у грузчика.

* * *

Лагерь был разбит как по линейке.

Я шёл по прямой улице между рядами кожаных палаток и не мог насмотреться. Вал, ров, ворота, широкая поперечная улица, у каждой палатки своё место. Кто-то здесь умел строить и умел заставить строить других.

Я молчал. Мне кивали. Двое в дорогих плащах заулыбались и кивнули первыми. Третий кивнул нехотя и долго смотрел мне вслед. Я запоминал лица и ничего не говорил. Если долго молчать и слушать, через полчаса знаешь, кто тут решает, а через час – кто ворует.

Шатёр наместника стоял на перекрёстке, перед ним торчали древки со значками и мокли часовые. Внутри горели светильники, пахло маслом и сырой кожей. За складным столом стоял человек в тунике, подпоясанный так свободно, что пояс сполз на бёдра. Высокий, худой, бледный, с быстрыми глазами. Редкие волосы были зачёсаны с макушки вперёд, на лоб, волосок к волоску. Этот приём я узнал сразу: в сорок восемь я делал так же, пока не сдался и не побрился наголо.

Я понял, кто это, раньше, чем он поднял глаза.

– А, Бальб. Ожил. Хорошо. Нам как раз нужен живой.

Голос был лёгкий, почти весёлый. Глаза – нет.

Кроме него в шатре были трое военных, один в доспехе, двое в плащах, и у входа, на складном табурете, грек в светлом плаще, с посохом из узловатой виноградной лозы. Через левую бровь у грека шёл белый шрам, и бровь от этого стояла домиком, будто её хозяин всё время чему-то удивлялся. Он смотрел на меня. Я сделал вид, что не замечаю.

Последним был мокрый по пояс человек лет пятидесяти, квадратный, седой, в простой рабочей тунике, а поверх неё – старый солдатский пояс с медными бляхами, вытертыми до красноты. У его ног лежала большая рыжая собака, тоже мокрая, и от неё шёл пар.

Цезарь взял стило и провёл по воску на табличке кривую линию.

– Дурий. Здесь мы. Здесь брод, которого больше нет. Они там. – Он ткнул в другой край. – Утром уйдут в горы, и мы будем ловить их всё лето. У нас нет всего лета. Мне нужна переправа к рассвету. Лутаций.

Квадратный человек выпрямился.

– Ставили на закате. Два плота унесло, одного парня вытащили уже синего. Вода идёт, как в мельничном лотке, и несёт деревья целиком, с корнями. К рассвету будут только новые утопленники.

– Это я слышал. – Цезарь повернул голову ко мне. – Бальб?

Все посмотрели на меня.

Я ничего не знал про эту реку. Мостов я в жизни не строил. Я строил склады, водоводы, однажды – путепровод, и тот по чужому проекту. Честный ответ был: не знаю. Человек, которым я стал, наверняка нашёл бы красивый способ сказать «не знаю» так, чтобы виноват оказался Лутаций.

– Сделаем, – сказал мой рот.

Я хотел бы сказать, что это был расчёт. Это была привычка. Двадцать лет на планёрках генеральный спрашивал «успеем?», и я говорил «сделаем», а думал уже потом, в машине. Иногда успевали. Язык не стал ждать головы и в этот раз.

Лутаций шумно выдохнул через нос. Грек у входа чуть наклонил голову.

– Вот видишь, – сказал Цезарь Лутацию. – Сделаем. Что тебе нужно, Бальб?

Отказываться было поздно, а раз поздно, надо брать по максимуму.

– Все лодки из деревни ниже по реке. Сотню людей, свободных от караула, из них половину – тех, кто умеет плавать. Всю верёвку в лагере. Все пустые амфоры и все бурдюки. И его. – Я кивнул на Лутация. – Злого и мокрого, как сейчас.

Один из военных хмыкнул. Цезарь улыбнулся, и от улыбки у меня стало холодно в животе.

– Злым и мокрым он бывает и без приказа. Бери. – Он положил стило. – К рассвету, Бальб. Если моста не будет, у нас будет много свободного времени, чтобы выяснить, кто виноват.

* * *

Мы шли к реке в сумерках. Собака трусила между нами и поглядывала то на него, то на меня.

– Ты в жизни плота не связал, – сказал Лутаций, не поворачивая головы.

– Связывать будешь ты.

– А ты?

– А я буду смотреть, где порвётся.

Он посмотрел на меня наконец. Глаза у него были светлые и очень усталые.

– Там уже порвалось. Два раза.

Дурий шумел ещё до того, как мы вышли из кустов. Вода шла бурая, тяжёлая, с белыми гребнями на камнях, и по ней плыли ветки, клочья травы, а один раз, пока я смотрел, целое дерево, медленно поворачиваясь вокруг себя. На нашем берегу у самой воды лежали брёвна, мокрые верёвки и третий плот, перевёрнутый, – его успели вытащить. Плот был сделан хорошо. Это я увидел сразу и пожалел. Сделай его люди Лутация плохо, всё было бы проще.

– Здесь ставили? – спросил я.

– Здесь. Тут всего сто двадцать шагов. Дальше она разливается.

Я подобрал сухую ветку, бросил подальше в струю и пошёл по берегу, глядя на неё. Ветка ушла вперёд сразу. Я прибавил шаг, потом пошёл быстро, потом почти побежал, и всё равно она уходила. Лутаций шёл следом и не говорил ни слова.

– Где разливается? – спросил я.

Он показал вниз по течению. Мы прошли ещё с километр. Там река расплзлась вширь по галечнику, берег становился низким, на той стороне торчали ивы, и вода здесь шла светлее и спокойнее. Я бросил вторую ветку и пошёл рядом. Она плыла со мной шаг в шаг.

– Здесь вдвое шире, – сказал Лутаций. – Вдвое больше плотов.

– Зато вода здесь идёт вдвое медленнее. А давит не вдвое меньше, а вчетверо.

– Это кто сказал?

Это сказал школьный учебник физики, который я учил в восьмом классе, и все мостостроители мира после него. Ни того, ни других я назвать не мог.

– Река, – сказал я. – Пошли, я тебе покажу.

У берега, за галечной косой, бежала мелкая протока шириной в два локтя. Я вбил по её краям два колышка и натянул между ними нитку, выдернутую из своего плаща, туго, струной. Набросал на неё травы, как плоты на канат. Вода подхватила траву, нитка запела, левый колышек выскочил из песка. Тогда я вбил его снова и привязал вторую нитку свободно, с провисом, дугой вниз по течению. Трава легла на неё, дуга прогнулась ещё, и всё замерло. Держало.

– Твои плоты рвало, потому что ты тянул канат, как тетиву, – сказал я. – Чем туже, тем сильнее его рвёт. Дай ему провиснуть, пусть мост выгнется по воде, и тогда течение будет давить в берега, а берега у тебя крепкие.

Лутаций долго смотрел на нитку. Потом присел, потрогал её пальцем и посмотрел на ивы на той стороне.

– А деревья? Одно такое придёт – и всё твоё провисание поедет к морю.

За это я и уважаю старых мастеров. Ты ему про физику, а он тебе про то, где оно сломается на самом деле.

– Деревья мы отведём, – сказал я. – Выше по течению ставим из брёвен бон, длинный, наискось, от того берега к нашему. Бревно упрётся и съедет вдоль него к берегу. Сам мост держим якорями. Корзины с камнями, каждой лодке своя, на длинных верёвках выше по течению, и верёвки не в лоб, а наискось.

Он встал, отряхнул колени.

– Лодки посередине, где глубже, – сказал он, уже прикидывая сам. – Плоты на бурдюках у краёв. Настил – из досок того плота и новых. Корзины плетут быстро, ивы тут полно.

– Сколько у тебя хороших плотников?

– Двадцать. Восемнадцать: двое наглотались воды, лежат.

– Как зовут лучших?

Он назвал пять имён. Я запомнил все пять, потому что от них зависело, буду ли я жив к обеду.

– Ладно, – сказал Лутаций. – Делаем по-твоему. Но слушай меня, Бальб. Утонет хоть один – я скажу наместнику, чья была нитка.

– Скажешь, – согласился я. – Если сам выплывешь.

* * *

Ночью мы строили.

Сотню людей я разбил на пять бригад и в каждую поставил старшего из тех пяти имён. Первые гнали лодки из деревни. Вторые плели корзины и набивали их галькой. Третьи надували бурдюки, затыкали пустые амфоры и вязали под них брёвна. Четвёртые разбирали вытасщенный плот на доски и тесали новые. Пятые с Лутацием ставили бон выше по течению, по грудь в воде, в ледяной горной воде, и я поклялся себе, что каждому из них поставлю вино.

Половина работала, половина ела и грелась, менялись по страже. Костры держали низкие, за щитами, чтобы с того берега не видели, сколько нас и что мы делаем. Каждому старшему я дал одно дело и одно число: столько корзин, столько досок, столько лодок к такой-то страже. Люди путаются в приказах, но в числах путаются меньше.

Старосту деревни разбудили и привели ко мне вместе с лодками. Я заплатил ему из кошель за двенадцать лодок столько, сколько, по моим прикидкам, стоила вся его деревня вместе с козами. Староста считал так же и был счастлив. Солдаты потом говорили, что он плакал. Я думаю, от жадности: не попросил больше.

Первый канат через реку перевёз на лодке местный рыбак. Его снесло на сорок шагов, но он догрёб, привязал конец к иве и долго махал оттуда руками, пока мы не помахали в ответ. Вдоль каната пошли лодки. Каждую ставили носом против течения, бросали корзину выше по реке, отпускали верёвку, крепили к соседней. За лодками пошли плоты. Цепь росла от нашего берега, медленно, и выгибалась по воде дугой, как моя нитка.

Грек сидел на камне у берега. Я заметил его в первую стражу, когда он пришёл со светильником и сел. Во вторую он сидел там же, светильник догорел, и в темноте белел только его плащ. Когда я поднимал голову от работы, он был там. Он ничего не делал и ни с кем не говорил. Он смотрел.

– Кто это? – спросил я Лутация, когда тот вылез из воды погреться.

– Аполлофан. Лекарь при наместнике. Толкует сны. – Лутаций сплюнул. – Это он сказал, что тебя солнце ударило.

– Он всегда так сидит?

– Он всегда там, где интересно.

К третьей страже цепь прошла больше половины реки. Я ушёл вверх по течению проверить бон и якоря, и пока меня не было, ребята у плотов сделали то, что делают все хорошие работники, когда начальник отвернулся. Сделали как лучше. Как привыкли. Они подтянули верёвки, чтобы мост стоял ровной линией, красиво, как на смотре.

Я услышал треск за сто шагов. Верёвка у третьей лодки лопнула с таким звуком, будто сломали весло о колено. Два плота развернуло, понесло вниз, цепь повело, и в темноте закричали.

Я бежал по гальке и видел, как с плота соскользнул человек и пропал, потом вынырнул ниже, хватаясь руками за воду.

В воду я прыгнул раньше, чем подумал. Привычка была моя. Тело оказалось чужое.

Холод ударил в грудь. Я всю жизнь плавал. Это тело – нет. Оно сжалось, ноги стали чугунные, во рту появился вкус железа, и всё внутри меня кричало «назад!» таким голосом, какого я у себя никогда не слышал. Я заставил руки грести. Человека я поймал за ворот, он вцепился мне в шею, мы оба ушли под воду, и под водой стало тихо и темно. Потом нас ударило о плот, и чьи-то руки вытащили его, а потом меня.

Я лёг животом на мокрые брёвна, выплюнул воду и заорал, сам не зная, на каком языке: – Отпускай! Все верёвки! На локоть! Пусть провиснет!

Меня послушали. Я потом много думал, почему. Наверное, потому что я был мокрый, страшный и стоял выше всех, на плоту, который ходил под ногами. Верёвки поползли. Цепь подалась вниз по течению, выгнулась, застонала всеми узлами – и встала.

Новую корзину для третьей лодки мы завели в темноте, вдвое дальше прежней. Сорванные плоты поймали у излучины и пригнали обратно на верёвках. Я больше не уходил от моста. Я стоял по колено в воде у последнего плота, пока не перестал чувствовать ноги, и после этого стоял ещё.

Где-то в четвёртую стражу сверху пришло дерево. Большое, с корнями, чёрное. Кто-то из плотников охнул. Дерево ткнулось в бон, повернулось, поползло вдоль брёвен, скребя ветками, и медленно, с достоинством, будто само так решило, выбралось на мель у нашего берега. Там его и оставили. Люди Лутация загудели вполголоса, чтобы не услышали на том берегу, и Лутаций на них даже не прикрикнул.

Когда я в следующий раз поднял голову, на камне у берега никого не было.

* * *

Небо над ивами посерело, когда положили последнюю доску.

Мост лежал на воде дугой, неровной, некрасивой, мокрой, с лодками вперемешку с плотами, похожий на очень длинную гусеницу. Первая центурия уже стояла на берегу, в полном вооружении, и центурион смотрел на мост, на меня и снова на мост.

– Порциями, – сказал я ему. – Не строим. Десяток, промежутки, десяток. Ногу не держать. Он не спросил почему. Махнул рукой.

Первый десяток ступил на доски. Мост просел, вода плеснула на настил, дуга выгнулась ещё сильнее, и я перестал дышать. Солдаты шли, глядя под ноги, переступая через щели. Второй десяток. Третий. Цепь гудела, верёвки на корзинах вытягивались и подрагивали. Держало.

Четвёртый десяток уже прыгал на тот берег, под ивы, когда до меня наконец дошло.

Ночью страшно не было. Ночью было некогда. Страшно стало сейчас, когда всё кончилось и делать стало нечего. Руки затряслись так, что я не смог развязать мокрый узел на поясе. Колени сделались мягкими. Я сел на гальку и смотрел, как по моему мосту идут люди, которые ничего про меня не знают, и думал, что если бы он лопнул посередине, их бы сейчас вылавливали у излучины, а меня бы искали в лагере. Этот мост держался на нитке из чужого плаща и на моём «сделаем».

Сзади хрустнула галька. Я обернулся.

Цезарь стоял над мной, в плаще, свежий, будто выспался. Он прошёл мимо меня к воде, ступил на мост, сделал несколько шагов, качнулся вместе с настилом и вернулся. Долго смотрел на дугу, на бон, на дерево на мели. Потом посмотрел на меня.

– Где ты этому научился, Бальб?

Я открыл рот, ещё не зная, что совру.

Глава 2. Мостник

Врать я начал на галечном берегу Дурия, в сером утреннем свете, с мокрыми ногами и пустым желудком.

– В Гадесе, – сказал я. – Корабелы там так вяжут плоты, когда сплавляют лес к верфям. Мальчишкой я у них пропадал целыми днями.

Ложь была хорошая. Проверить её нельзя: до Гадеса полмесяца пути, а где пропадал мальчишкой человек, в чьём теле я очнулся, не знал даже я. Цезарь кивнул, будто другого ответа и не ждал, и я почти поверил, что проскочило.

– Разве?

Аполлофан стоял у воды, опираясь на свой посох из лозы.

– Разве Бальб не боялся воды всю жизнь? – спросил он, глядя на мост. – Разве не его в Новом Карфагене переносили через ручей на руках двое рабов?

Кто-то из трибунов хмыкнул. Я этой истории не знал. Возможно, её не знал никто, кроме грека, а возможно, её не было вовсе. Проверить я не мог, и он это понимал.

– Потому и смотрел на корабелов, – сказал я. – Кто боится воды, тот лучше всех знает, как она рвёт.

Цезарь засмеялся. Смеялся он коротко, одним выдохом, и сразу снова становился серьёзным.

– Слышал, Аполлофан? Страх – лучший учитель. Запиши, пригодится для толкований. – Он повернулся к трибунам. – Переходим. Когорты в том порядке, как стояли. Обоз за ними. Бальб, мост твой, тебе и смотреть.

Он ушёл к коню. Грек посмотрел на меня, как лекарь на больного, который уверяет, что здоров.

В лагере меня принимали за Бальба, и я думал, что опасность придёт от тех, кто знал его близко: от раба, от родни, от старых друзей. Опасность пришла с первым же рассветом, от человека с посохом из лозы, который спрашивал про ручей. Этот грек помнил Бальба лучше, чем я. Значит, мне надо было узнать Бальба раньше, чем грек узнает меня. Сколько у меня на это времени, я понятия не имел.

* * *

Я встал на середине моста, там, где лодки сидели в самой глубокой воде, и пропускал людей порциями.

Это оказалось труднее, чем строить: верёвку и камень я мог положить куда надо, а центуриона – нет. Первая когорта перешла по десяткам, как утром её головная центурия. Вторая подошла плотным строем, щит к щиту, и её центурион, седой, с лицом, как старый сапог, утреннего не видел и повёл людей на доски так, как привык водить всю жизнь: шаг в шаг, ряд за рядом.

– Десятками! – крикнул я. – Между десятками промежутки. И ногу не держать!

– Это ещё почему?

– Потому что мост пляшет под шагом. Сто человек в ногу – и он раскачается так, что вы полетите в воду в ногу.

Центурион посмотрел на меня, на доски под своими сапогами и на воду между досками. Потом обернулся и рявкнул. Строй распался на десятки. Дуга моста опять прогнулась, верёвки на корзинах вытянулись, но держали.

Трибун, молодой, с завитыми волосами и золотым перстнем на пальце, подъехал к самой воде и спросил, сколько это будет продолжаться. Я ответил, что до полудня. Он сказал, что наместник ждать до полудня не будет. Я сказал, что наместник ждать будет, если не хочет ловить свою первую когорту у излучины. Трибун покраснел и уехал. Я понял, что нажил врага, и не мог вспомнить, как его зовут. Бальб, наверное, знал.

Когорты прошли. За ними пошёл обоз.

Обоз в римском войске – это мулы. Сотни мулов, на каждом выюк: палатка из кожи, колья, котлы, мешки с зерном, жернов, лопаты. Мулы не любят мостов, которые качаются. Погонщики тянули их за морды, подталкивали сзади, ругались на трёх языках. Животные шли, кося глазом на воду, и мелко переступали.

На шестом или седьмом пролёте от того берега один мул встал. Он упёрся всеми четырьмя ногами в доски и закричал тем голосом, каким кричат только мулы, отчаянно и нагло. Погонщик дёрнул повод. Мул рванулся вбок, выюк на нём съехал набок, и плот, на котором он стоял, накренился. Край настила ушёл под воду. Соседние лодки потянуло, верёвка к ближней корзине зазвенела, и я почувствовал этот звон ногами, через доски.

Я побежал туда. Перепрыгнул щель, чуть не упал, схватил мула за недоуздок. Мул мотнул головой и чуть не сломал мне руку.

– Нож! – крикнул я погонщику. – Режь подпругу!

Погонщик смотрел на меня круглыми глазами. Мой собственный нож висел у меня на поясе, в ножнах с серебряной оковкой. Я выдернул его, полоснул по ремню под брюхом. Выюк рухнул на доски. Плот качнулся обратно, вода схлынула с настила. Мул, освободившись, сразу затих.

– Мешки на ту сторону, – сказал я. – Палатку туда. Жернов на середину.

Мы вдвоём с погонщиком раскидали груз по плоту. Руки у погонщика были чёрные, в трещинах, с ногтями, обломанными до мяса. Мои руки за эти десять минут покрылись ссадинами от верёвки, и я смотрел на них с удивлением: тонкая кожа писаря лопалась от любого узла. Погонщик снял с себя плащ и накинул мулу на голову. Мул постоял в темноте под плащом, вздохнул и пошёл.

– Плащ на голову – каждому, кто упрётся, – сказал я. – Передай дальше.

Погонщик передал. Через полчаса половина мулов шла через мост с плащами на головах, и ни один больше не встал.

* * *

На том берегу закричали.

Я поднял голову. Первая когорта стояла на лугу за ивами, развернувшись лицом к холму, и с холма на неё бежали люди. Много людей. Сначала это было тёмное пятно на зелёном склоне, потом в нём стали видны круглые щиты, мелькающие руки, белые рубахи. Над головами полетели дротики. Сухо застучали камни из пращей.

Часть камней била дальше когорты, по тому концу моста, по мулам и людям на последних пролётах. Погонщик в двух шагах от меня охнул и сел, держась за колено. Мул перед ним шарахнулся. Мост качнулся. На последних пролётах сгруппировались люди и животные, и все они были как на ладони для пращников на холме.

Думать пришлось быстро.

Щитов у погонщиков нет. Щиты у когорты, и когорта занята. Укрыть людей на мосту нечем, кроме того, что лежит на мулах. На мулах лежат палатки. Палатка – это кожа, сшитая из десятков шкур, большая, тяжёлая. Камень из пращи пробивает доску. Кожу, которая висит свободно, он не пробивает. Ударяет, кожа подаётся, и камень падает. Это я знал не из учебника.

Это я знал, потому что в детстве мы с ребятами кидали камни в мокрое бельё на верёвке и ни разу не порвали ни одной простыни, только получили от соседки.

– Палатки с мулов! – заорал я. – Вешать вдоль борта, с той стороны, откуда бьют! На колья, на вёсла, на что угодно! Не натягивать! Пусть висят!

Погонщики сначала не поняли. Потом понял один, старый, с бородой до глаз, и полез отвязывать выюк. За ним другие. На лодках нашлись вёсла, во выюках – колья. Мы втыкали их в щели между досками, привязывали к бортам, кидали сверху кожу. Через несколько минут вдоль последних пролётов моста висела стена из кожи, рыжая, мокрая, провисшая.

Камни били в неё глухо, и кожа вздрагивала. Дротик влетел в складку и застрял, качаясь. Другой ударил плашмя и упал в воду. Люди за кожаной стеной присели и пошли дальше, пригибаясь, к берегу. Мулы шли за ними. Погонщика с разбитым коленом двое тащили под руки.

Я стоял за этой стеной, и меня трясло. Чтобы не трясло, надо было что-то делать, и я пошёл за последними мулами на тот берег.

* * *

Война вблизи оказалась шумной и непонятной.

Я перешёл на тот берег вместе с последними мулами и оказался у самого края боя. Видно было мало. Видны были спины. Первая когорта стояла сплошной стеной щитов, высоких, выгнутых, с медными бляхами посередине. Из-за щитов вылетали тяжёлые копья, сразу много, по команде, и уходили вверх, на холм. Потом стена щитов делала шаг. Ещё шаг. За ней стояла вторая линия, и в какой-то момент, по крику центуриона, люди из первой линии отходили назад, а вторые занимали их место. Свежие сменяли уставших прямо посреди драки, и делали это так спокойно, будто сменялись в карауле.

Я ничего не понимал в войне. Но я понимал, что это дело кто-то придумал и довёл до ума за сотни лет до меня и оно работает.

Раненых выносили из-за строя и клали на траву у ив. Я таскал их вместе с погонщиками и обозными рабами. Одному парню камень попал в лицо, он держался за щёку, и между пальцами у него текло. Другому дротик прошёл через бедро, и он молчал, только скрипел зубами. Тяжёлые они были, раненые. Они дёргались, хватали нас за руки и кричали, когда их поднимали.

У ив работал Аполлофан. Он сбросил свой светлый плащ, остался в тунике и был уже в крови по локти. Он резал, тянул, перевязывал, и руки у него двигались быстро и точно, без единого лишнего движения. Парню с дротиком в бедре он сказал по-гречески: «Смотри на меня», и, пока тот смотрел, выдернул наконечник. Парень закричал и потерял сознание. Грек перетянул ногу ремнём и пошёл к следующему, не оглянувшись.

Я смотрел на него и думал, что этот человек, кем бы он ни был ещё, лекарь настоящий. Из тех, кто знает, где у человека болит. Мне это совсем не понравилось.

Когда раненых больше не несли, я спустился к реке и стал мыть руки. Вода была ледяная, бурая, руки в ней казались чужими ещё больше, чем утром. Кровь сходила плохо. Она забилась под ногти, в ссадины от верёвки, в складки на костяшках, и я тёр пальцы о гальку, пока не стало больно. Бальб, наверное, никогда в жизни не держал на руках человека, у которого течёт из лица. Я, честно говоря, тоже. Желудок сжался и разжался, и меня вырвало в Дурий одной желчью: есть было нечего. Рядом на корточках сидел обозный раб и мыл котёл. Он посмотрел на меня без всякого интереса и продолжил мыть.

К полудню лузитаны побежали.

Это случилось сразу. Только что они бросались на щиты с холма, а потом вдруг вся тёмная масса развернулась и потекла вверх, к лесу, оставляя на склоне убитых и брошенные щиты.

Когорта не побежала за ними. Она встала, выровнялась и подняла щиты, и над лугом прокатился крик, от которого загудело в груди.

Цезарь переходил мост последним.

Он шёл пешком, без шлема, в красном плаще, ведя коня за собой в поводу. Пращники на холме ещё не все разбежались, и пара камней шлёпнулась в воду рядом с мостом. Цезарь не прибавил шага. На середине он даже остановился, посмотрел вверх по реке, на бон, посмотрел на висящую вдоль борта кожу и, кажется, что-то спросил у ближайшего погонщика. Потом пошёл дальше.

Две тысячи человек смотрели на него с этого берега, и он это знал. Пятьдесят шагов под камнями – и две тысячи человек, которые будут рассказывать про эти шаги внукам. Хорошая сделка, если камень не попадёт. Он шёл не торопясь, и я понял, что этот человек умеет считать не хуже меня. А может, и лучше.

* * *

Вечером я покупал вино.

Маркитант, толстый грек с огромными руками, торговал с телеги у самого вала. Вино у него было кислое, амфоры – с отбитыми ручками, а цены такие, будто он вёз их через Альпы на собственной спине.

– Сколько? – спросил я.

Он назвал цену за амфору. Я спросил, сколько у него амфор. Он сказал, что двенадцать. Я сказал, что беру все двенадцать по половине цены. Он сказал, что за такие деньги я могу пить воду из Дурия. Я сказал, что пил её этой ночью и больше не хочу, и что воды в Дурии много, а покупателей на двенадцать амфор кислятины в этом лагере ровно один. Маркитант посмотрел на свою телегу, на меня, вздохнул и уступил треть. Мы сошлись посередине, как сходятся все торговцы мира, и оба остались недовольны, а значит, цена была честная.

Маркитант повёз телегу к кострам мастеров, а я шёл рядом с Абдмелькартом. Раб нёс одну амфору на плече и ворчал, что господин раньше вино покупал только для гостей, у которых можно что-то взять взамен. Я сделал вид, что не слышу, а про себя записал: Бальб был расчётлив. Пригодится.

У костров мастеров было шумно. Меня увидели издалека, и кто-то крикнул:

– Мостник идёт!

– Мостник! – подхватили у соседнего костра. – Мостник с вином!

Я поставил амфору на землю и выпрямился. Так это было сказано, со смехом, по-доброму и уже окончательно, что я сразу понял: это прозвище останется со мной надолго. Может, навсегда. Мостник. Человек, который в жизни не построил ни одного моста, если не считать этого, ночного, на нитке и честном слове. Говорить им об этом я, разумеется, не собирался. Хвастаться тоже не стоило: я знал, как держится мост, но не знал, сколько раз мне ещё повезёт. Я решил просто помалкивать и наливать.

Плотники пили, ели и хлопали меня по плечу так, что Бальбово плечо, непривычное к такому обращению, к ночи наверняка посинеет. Пятеро старших, которых мне назвал Лутаций, сидели у одного костра. Я налил каждому сам. Самый молодой из них, худой, рыжеватый, с пальцами в смоле, спросил, правда ли, что мост держала нитка. Я сказал, что нитку я ему подарю, если найду. Он засмеялся.

– Децим, – сказал он, когда я спросил, как его зовут. – Из Гиспалиса. Отец лари делал, корыта, всякое. Я плотник.

– Давно с Лутацием?

– Третий год. Ещё два – и хватит. Накоплю на мастерскую, вернусь, женюсь. Там девушка есть, дочь горшечника. – Он покраснел до ушей, и веснушки на носу стали не видны. – Она ждёт. Говорит, что ждёт.

– Ждёт, – сказал я. – Раз говорит.

– А ты научишь меня так вязать? Как ночью? С провисом?

Я сказал, что научу. Он кивнул так серьёзно, будто мы подписали договор, и налил себе ещё. Я запомнил его: Децим, Гиспалис, дочь горшечника, два года до мастерской. Я всегда запоминаю, кому что обещал. Это единственное, что я умею запоминать без бумаги.

Лутаций сидел чуть поодаль, на бревне, с собакой у ног. Пил мало, смотрел в огонь. Когда я подошёл, он не встал.

– Лутаций хочет сказать, – произнёс он громко, так, чтобы слышали все у костров. – При людях. Мост был хороший.

Стало тихо.

– Нитка была дрянь, – добавил он. – А мост хороший.

И выпил. Плотники заорали. Собака встала, обнюхала мою руку и легла обратно. Я стоял с амфорой в руках и не знал, что сказать, поэтому ничего не сказал. Это было самое правильное, что я сделал за день.

* * *

Аполлофан пришёл ко мне ночью.

Я лежал в своём шатре и пытался заснуть. Тело хотело спать так, что ныли кости, а голова не давала. Полог откинулся, и вошёл грек с плоской маслин в одной руке и светильником в другой. Он поставил светильник на сундук, сел на складной табурет, не спрашивая разрешения, и положил в рот маслину.

– Не спится? – спросил он.

– Голова.

– После удара бывает, – кивнул он. – Хочешь, дам настой?

– Не хочу.

Он съел ещё маслину и аккуратно положил косточку на край плоски.

– Я всё думаю про Гадес, – сказал он. – Давно ты там не был? Как поживает твой Бомилькар? Всё так же пахнет своим соусом?

Бомилькар. Имя ничего мне не сказало. Ни лица, ни двора, ни голоса. Пустота.

– Пахнет, – сказал я наугад.

– А Магн? Ты ведь писал ему прошлой зимой. Что он ответил?

Магн. Это я знал: Помпей Великий, это имя слышал любой, кто хоть раз смотрел кино про Рим. Зачем Бальб писал Помпею и что тот ответил, я не знал и знать не мог.

– Аполлофан, – сказал я. – Я сутки не спал и полночи просидел в воде. Если тебе интересна моя переписка, приходи днём, я велю писцу её тебе прочесть. Всю. С приложениями.

Грек улыбнулся. Бровь со шрамом поползла вверх.

– Днём ты занят. Ты теперь Мостник. – Он поднялся, забрал светильник. – Знаешь, у меня был больной в Александрии. Упал с лестницы, ударился головой. Встал – и заговорил на языке, которого никогда не учил. Жена говорила, что подменили. Я тогда не поверил.

– А теперь веришь?

– А ты как думаешь? – спросил он и вышел.

Я лежал и смотрел в темноту. Он не спросил ничего такого, на что нельзя было ответить. Он задал три вопроса, на которые нормальный Бальб ответил бы не задумываясь, и посмотрел, как я задумался. И я задумался все три раза.

Тот, кто спрашивает, ничего не теряет. Отвечающий рискует каждым словом. Значит, мне надо было меньше отвечать и больше спрашивать самому. И узнать про Бомилькара, про Помпея, про зиму и про письма раньше, чем грек придёт ещё раз.

Кое-что я мог вытянуть уже сейчас, из одних его вопросов. «Твой Бомилькар» – значит, свой человек, близкий. «Пахнет своим соусом» – значит, торгует рыбой, а в моём единственном обрывке памяти о Гадесе рыбой пахло даже во дворе. Человек, который пахнет соусом так, что это помнят в лагере на краю света, торгует рыбой по-крупному. Богатый, близкий, из Гадеса. Отец? Дядя? Кредитор? Последнее мне почему-то показалось самым вероятным, и от этой мысли я окончательно проснулся.

Абдмелькарт спал у входа, на подстилке. Я думал, что спал. В шатре было темно, но снаружи горел костёр, и сквозь щель в пологе на шатёр падала полоса рыжего света.

Старик сел. Посидел, прислушиваясь к моему дыханию. Я дышал ровно и медленно, как спящий. Тогда он сунул руку за пазуху и вынул оттуда свёрнутое письмо, перевязанное шнурком, с печатью. Он держал его на ладонях долго, не разворачивая, и просто смотрел. Потом поднёс к губам, будто хотел поцеловать, но не поцеловал. Убрал обратно за пазуху и лёг.

Я лежал не двигаясь, пока костёр за пологом не прогорел.

Печать на письме была целая.

Глава 3. Два кармана

Утром лагерь снимался, и за час на месте города из кожи и кольев остался вытоптанный луг, кучи золы и ров, который никто не стал засыпать. Я ехал верхом при обозе, в середине колонны, и думал про письмо за пазухой у Абдмелькарта. Думал и понимал, что начинать надо не с чужих писем. Начинать надо было с собственных счетов, о которых я не знал ничего, кроме того, что кошель звенит.

Писец нашёлся сам. Он ехал на муле рядом с моим конём, и, когда я на него посмотрел, поклонился так низко, что чуть не сполз с седла. Грек лет сорока, выбритый до синевы, только у левого уха осталась забытая полоска щетины, будто бородбрей не добрил. На поясе у него висела связка восковых табличек в деревянных рамках, и на каждом шаге мула таблички постукивали друг о друга.

– Никандр, – сказал я почти наугад: так вчера у костров кто-то окликнул грека с табличками.

– Господин, – ответил он и поклонился ещё раз.

Значит, угадал.

– У меня после реки болят глаза, – сказал я. – Читать не могу, буквы плывут. Прочти мне счета. Все.

– С начала года, господин? Или с начала времён?

Поклон, который сопровождал этот вопрос, был такой глубокий и почтительный, что я почувствовал себя дураком. Возможно, так и было задумано.

– С начала года, – сказал я. – До начала времён доберёмся к осени.

Никандр отстегнул от пояса первую табличку, раскрыл её, как книжку, и стал читать. Голос у него был ровный, без выражения, каким читают приговоры.

Бомилькару, сыну Гискона, в Гадесе – двести тысяч сестерциев. Залог – дом у восточной гавани.

Людам Марка Красса в Кордубе – шестьдесят тысяч. По одной сотой в месяц.

Мастерам при войске – жалованье за три месяца не выплачено. Ждём денег наместника.

Он читал дальше: мелкие долги, мелкие платежи, расход на коней, на рабов, на пир в Кордубе зимой, где Бальб, судя по сумме, кормил весь город. Я слушал и складывал в голове. Сложилось неприятно.

Я был должен всем. Купцу в Гадесе, людям самого богатого человека в Риме и собственным плотникам. Вчера я угощал этих плотников вином, и они хлопали меня по плечу. Они хлопали по плечу человека, который три месяца не платил им ни монеты. Неудивительно, что вино они пили с таким удовольствием: хоть что-то от меня получили.

– Напомни, – сказал я так, будто проверяю его, а не себя. – Под какой процент мы брали у Бомилькара?

Никандр опустил табличку и посмотрел на меня поверх неё.

– Без процента, господин. Бомилькар никогда не брал с тебя процентов. Ты сам говорил прошлой осенью, раз пять, не меньше: это три вещи сразу – дружба, честь и петля.

Я кивнул так, будто прекрасно это помнил. Бальб был неглуп. Деньги без процента – самые дорогие деньги на свете. Проценты можно сосчитать. Дружбу и честь не считаешь, а значит, не знаешь, когда расплатился.

– Читай дальше, – сказал я.

Он читал до полудня. Дорога шла вверх, между холмами, поросшими дубом и вереском, и колонна растянулась по ней так, что голову я не видел, а хвост только слышал. Мулы шли, опустив морды. Погонщики шли рядом и держались за вьюки, чтобы самим было легче. Я держал поводья и чувствовал каждую вчерашнюю ссадину: ладони за ночь покрылись коркой и

трескались, стоило сжать кулак. У Никандра пальцы были чёрные от чернил до второго сустава, и он перелистывал таблички, слюнявя палец.

К полудню я знал о Бальбе больше, чем за все вчерашние сутки. Он жил широко. Он много занимал и много давал займы сам, мелочью, своим людям. Он платил за чужие свадьбы и похороны. В Кордубе у него был дом, в Гадесе – другой, заложенный. Он был из тех, кто держит в голове всех, кому что должен и кто что должен ему, и живёт на разнице. Судя по табличкам, разница давно была не в его пользу.

* * *

На полуденном привале я сел в тени под оливой и развязал кошель.

Внутри он оказался разделён надвое кожаной перегородкой, и у каждой половины был свой шнурок. На одном шнурке висела костяная бирка с буквами, процарапанными ножом: Г. Ю. Второй шнурок был без бирки. Всё было понятно и без Никандра: в одном отделении деньги Гая Юлия, в другом – свои.

По табличке Никандра выходило, что в отделении наместника должно лежать четыреста денариев, на мелкие расходы мастерских. Я высыпал их на плащ и пересчитал. Пересчитывал я молча, двигая монеты пальцем по одной, и три раза сбивался, потому что мимо ходили люди и каждый, кто проходил, смотрел на серебро. Вышло триста десять.

Девяносто не хватало.

Сначала я подумал на лодки. Я ведь платил старосте ночью, в темноте, хватая из кошель, что попадалось. Потом развязал второе отделение. Потом вспомнил: ночью я развязывал шнурок без бирки, костяную бирку я бы нащупал пальцами. Значит, за лодки я заплатил своими. Это меня даже обрадовало: хоть в темноте, а руки знали, где своё.

Тогда откуда девяносто?

Я перетряхнул отделение наместника, вывернул его наизнанку, и из шва выпал свёрнутый в трубочку клочок папируса. На нём мелким почерком, которым, наверное, теперь писала и моя рука, стояло:

Взял девяносто. Верну до апрельских календ.

Апрельские календы прошли. Это я знал точно: Абдмелькарт вчера ворчал, что господин пропустил жертву в майские. Значит, Бальб взял деньги наместника на свои нужды, записал это самому себе в долг и не вернул. Честный вор. Такой ворует аккуратно и записывает, сколько украл.

Я сидел над двумя кучками серебра и думал. Кучка наместника – триста десять. Моя – сто пятьдесят. Долгов у меня, считая Бомилькара, людей Красса и плотников, набегало на двести шестьдесят тысяч сестерциев с лишним. В моём веке таких людей называли застройщиками.

Если недостачу найдут, Бальб окажется вором. Если её найдут сейчас, вором окажусь я. Разницы для того, кого будут бить, никакой.

Я отсчитал из своей кучки девяносто денариев и пересыпал в отделение наместника. Своих осталось шестьдесят. Бумажку из шва я сложил вчетверо и убрал к себе. Выбросить её было бы правильнее. Но я никогда в жизни не выбрасывал расписок, даже чужих, и в этой жизни начинать не собирался.

Никандр подошёл, когда я затягивал шнурок. Он посмотрел на кошель, на мои руки и на плащ, где ещё лежала моя маленькая кучка.

– Пересчитай отделение наместника, – сказал я. – У меня глаза.

Он взял кошель, отвернулся и пересчитал. Быстро, не шевеля губами, перекладывая монеты из ладони в ладонь.

– Четыреста, господин. – Он вернул мне кошель и поклонился ниже обычного. – Вчера было триста десять.

Мы помолчали.

– Вчера, – сказал я, – у меня болела голова.

– Конечно, господин. – Никандр отцепил от пояса табличку и стёр в углу маленькую пометку тупым концом стила. – У меня тоже болела. Я, наверное, ошибся.

Он ушёл к своему мулу. Я смотрел ему в спину и думал, что этот человек знал о недостатке давно и молчал. Молчал, пока я не закрыл её сам. Ждал, что я сделаю. Бальб нанял себе писца, который смотрит. Хорошо это или плохо, я пока не решил.

* * *

После привала ко мне подъехал вчерашний трибун.

Он был всё так же завит, и перстень на пальце был всё тот же, но сегодня он улыбался. Улыбался так, как улыбаются люди, которые пришли что-то попросить и заранее решили, что ты им должен.

– Бальб, – сказал он. – Вчера ты задержал мне когорт.

– Я спас тебе когорт.

– Возможно. – Он повёл плечом. – Я не о том. У моей повозки треснула ось. Мне нужен плотник. Хороший.

Я открыл рот, чтобы сказать, что хорошие плотники нужны мосту, а не повозкам трибунов, и в эту секунду меня накрыло.

Рука легла мне на плечо. Тяжёлая, молодая рука с золотым перстнем на пальце. Над рукой – круглое румяное лицо, волосы надо лбом подняты вихром, и этот человек весело, громко, на весь двор говорил: «Отныне ты римский гражданин, Луций Корнелий». Пахло конским потом и дымом, где-то трубили, и мне было так хорошо, как бывает только в молодости, когда кажется, что жизнь сейчас начнётся по-настоящему. Потом всё пропало. Остался трибун, который смотрел на меня, приподняв бровь, и ждал.

Я не помнил, о чём он просил.

– Повтори, – сказал я. – Я задумался.

Трибун повторил, медленнее, как ребёнку. Пока он говорил, я пришёл в себя. Голова была мокрая под волосами, руки держали поводья слишком крепко.

– Ось, – сказал я. – А что ты везёшь в своей повозке?

Он помедлил.

– Посуду. Ковры. Кое-что из вещей.

– Тяжёлое?

– Серебро, – сказал он не без гордости.

– Тогда ось тебе нужна не простая, а дубовая, и ставить её надо на привале, а не на ходу. К вечеру у тебя будет плотник. Лучший. Только скажи своим, чтобы не грузили серебро с одной стороны. Ось у тебя треснула от этого, не от дороги.

Трибун посмотрел на меня с удивлением, потом с удовольствием, потом с подозрением, потом опять с удовольствием. Кивнул и уехал.

– Кто это? – спросил я Никандра, когда трибун отъехал.

– Тит Вибий, господин. Сын сенатора. – Никандр помолчал. – Вчера ты отправил его к наместнику ни с чем. При всех.

– А сегодня я дал ему плотника.

– Лучший у Лутация – Децим, господин. Децим будет недоволен.

Децим действительно был недоволен, когда я ему сказал. Но пошёл.

А я ехал дальше и думал про руку. Гражданство в войске даёт полководец. Полководцем, которому Бальб писал прошлой зимой, был Магн. Магн – это Помпей. Значит, рука с перстнем и вихор надо лбом – это Помпей Великий, и это он сделал мальчишку из Гадеса римлянином.

А теперь этот мальчишка служит Цезарю. Что потом они сойдутся в войне, я помнил. Кто кого бросит раньше, не помнил совсем.

* * *

Вечером в шатре я остался с Абдмелкартом один.

Старик возился с моими вещами. Он брал плащ, складывал его, клал на сундук, через минуту брал снова и складывал по-другому. Я сидел на лежанке и делал вид, что смотрю в табличку, которую оставил мне Никандр.

– Господин, – сказал Абдмелкарт, не поворачиваясь. – А помнишь, что ты сказал у ворот, когда уходил из Гадеса с войском Помпея?

Вопрос был задан лениво, между делом, как спрашивают о погоде. Только руки у старика замерли на плаще.

– Помню, – сказал я. – Сказал, что вернусь.

– Это все говорят, кто уходит. Ты сказал ещё одно.

В шатре стало очень тихо. Снаружи кто-то смеялся, лязгнул котёл, заржал конь. Я мог бы сказать что угодно. Пятьдесят на пятьдесят, что угадаю, – нет, гораздо меньше. Скорее один к ста.

– Абдмелкарт, – сказал я. – Я у реки ударился головой. Сильно. Грек сказал – солнце, ты сказал – вода. А я тебе скажу, что о камень. Половины не помню. Тебя помню. Гадес помню. А что я говорил у ворот пятнадцать лет назад, не помню.

Старик повернулся. Посмотрел на меня долго, сверху вниз, как на мальчишку, который разбил кувшин и врёт, что тот упал сам.

– Голова не горшок, – сказал он наконец. – Разобьёшь – новую не купишь. Или купишь, да не ту. Как там говорится.

– Не помню, как говорится.

– Вот и я не помню, – сказал Абдмелкарт и снова взялся за плащ.

И всё. Он не стал спорить. Не стал спрашивать ещё. Он принял мою ложь сразу, целиком, не разглядывая.

Это было хуже любого спора. Человек, который спорит, ещё сомневается. Человек, который соглашается так легко, уже что-то для себя решил. Что именно решил старик, который вырастил Бальба и носит за пазухой его письмо, я не знал. Я лёг лицом к стенке и долго слушал, как он складывает плащ.

* * *

Ночью я не спал и пошёл ходить по лагерю.

Лагерь стоял на склоне, над ручьём. Ручей был узкий и быстрый, и в темноте у воды кто-то возился: обозные рабы набирали воду в котлы на утро. Я спустился к ним. Ниже по ручью поили мулов. Выше, шагах в ста, на краю лагеря, белели свежие отвалы – отхожие ямы двух когорт. От ям к ручью шла влажная полоса по траве. Она шла прямо к тому месту, где рабы набирали воду для котлов.

Я постоял, посмотрел на эту полосу и пошёл искать Лутация.

Лутаций спал, и собака на меня зарычала. Он проснулся, сел, выслушал, не перебивая, и сказал:

– Ямы копали, где показал метатор. Метатор показывает, где по уставу. Устав писали люди поумнее нас с тобой.

– Устав писали для ровного места. Здесь склон.

– Мои люди спят. Позапрошлую ночь они стояли в воде, вчера дрались и таскали раненых, а сегодня шли весь день. Ты хочешь, чтобы они сейчас копали новые ямы, потому что тебе не нравится полоска на траве?

– Я хочу, чтобы они не умирали от поноса.

– От поноса никто не умирает.

– Пойдём, – сказал я.

Мы пошли к лекарскому шатру. Аполлофана там не было, у входа дремал его раб, мальчишка-грек. Я разбудил его и спросил, сколько сейчас у лекаря больных животом и из каких они когорт. Мальчишка не понял, зачем мне это, но список у него был: грек, видимо, записывал всё. Мальчишка водил пальцем по табличке и читал, а я слушал.

Больных животом было двадцать девять. Девятнадцать из них – из двух когорт, которые стояли внизу, у ручья, и брали воду там, где брали её сегодня рабы для котлов. Из остальных восьми когорт – десять человек на всех.

– Девятнадцать на две когорты, – сказал я Лутацию. – Десять на восемь. Хочешь, посчитаем, сколько их будет через неделю, если так и стоять у каждого ручья?

Лутаций постоял, глядя в землю. Собака сидела у его ноги и ждала.

– Через неделю мы уйдём отсюда, – сказал он.

– А ямы будут копать опять по уставу. У следующего ручья.

Он думал ещё немного. Потом пошёл будить людей.

Мы перенесли ямы за нижний край лагеря, туда, где ручей уже уходил из него. Выше по течению вбили колья и натянули верёвку: здесь берут воду для котлов, и никто не поит здесь мулов. Мулов увели ниже, к самым ямам. Лутаций ругался шёпотом, длинно и изобретательно, но копал сам, наравне со всеми. А я сел на бревно с табличкой и написал для метатора правило на все следующие лагеря: где вода, где мулы, где ямы, и что ямы всегда ниже по течению, сколько бы ни говорил устав. Правило вышло в три строки. На большее у меня не хватило бы смелости, а у метатора терпения.

Децим вернулся от трибуна, когда мы уже засыпали последнюю старую яму. Он был злой и весь в дубовой стружке.

– Сделал, – сказал он. – Ось как новая. Серебро переложили, как ты велел. Он мне даже спасибо не сказал. Сын сенатора.

– Сенаторы спасибо не говорят, – сказал я. – Им это вредно.

Я достал из кошельа два денария, из своего отделения, и отдал ему. Своих стало пятьдесят восемь. Децим посмотрел на монеты, на меня, сунул их за щёку, как делают все, у кого нет кошельа, и пошёл спать, насвистывая. Два денария за дубовую ось и испорченный вечер. Трибун заплатил бы за неё вчетверо, если бы ему пришлось в голову заплатить.

Через неделю в лекарском шатре стало вдвое меньше народу. Никто не связал это с ночной вознёй у ручья. Солдаты решили, что боги смилостивились после жертвы, которую наместник принёс за переправу. Я спорить не стал.

* * *

Перед рассветом я сидел у своего шатра и смотрел, как над горами светлеет небо.

Пора было решать, что делать с тем, что я знаю. Знал я мало и путано. Цезарь, Помпей и Красс договорятся и поделят Республику на троих – это было скоро, может быть, через год, через два. Потом Галлия, долгая и кровавая. Потом Рубикон. Потом война с Помпеем, и Помпей проиграет. Потом мартовские иды, и Цезаря зарежут в сенате, двадцать с лишним ударов, и кто-то из тех, кого он помиловал, будет среди убийц. Дальше путалось совсем: Антоний, Клеопатра, какой-то мальчишка, который станет императором. Чем кончил Бальб, я не знал вовсе. Я даже не был уверен, что когда-нибудь слышал его имя.

С другой стороны был мост. Был ручей. Были девяносто денариев. В малом я мог многое, и это малое было видно сразу: мост держит, люди не болеют, недостача закрыта.

Ладно, сказал я себе. Большое не трогаем. Не знаем, как оно устроено, значит, не лезем, иначе обрушим не то, что надо. Малое чиним, потому что видно, где течёт. Решение было разумное. Оно мне нравилось, и мне не нравилось, что оно мне так нравится: слишком уж удобно оно разрешало ничего не решать.

Из темноты вышел солдат с факелом и остановился передо мной.

– Бальб? Наместник зовёт.

Цезарь не спал или уже встал: он стоял у стола в претории одетый, и перед ним лежала табличка с планом, похожим на тот, у переправы, только линий на нём было больше и все они уходили вверх, в горы.

– Лузитаны ушли на перевалы, – сказал он, не здороваясь. – Мы идём за ними. Хлеб остаётся внизу, у реки. Сто двадцать повозок. Его надо привести к нам через горы, и быстро, потому что в горах есть нечего, кроме коз, а козы бегают быстрее легионеров.

Он поднял глаза.

– Обоз твой, Бальб. Ты же у нас Мостник.

Глава 4. Цена

Через день я снова стоял на галечнике у Дурия, на том самом месте, где мы строили мост, и смотрел на сто двадцать повозок с хлебом. Мост уже разобрали, лодки вернули старосте, и он, кажется, считал это лучшей сделкой в своей жизни. Повозки стояли рядами на лугу, волы жевали, возчики спали в тени под колёсами. Цезарь со всем войском ушёл в горы за лузитанами, а хлеб остался здесь, и мне нужно было доставить его туда, где войско будет есть его через три дня, иначе не будет есть ничего.

Никандр разложил на перевёрнутом ящике табличку с картой. Карту ему нарисовал местный пастух за две медные монеты и кувшин вина, и выглядела она соответственно: река, кривые горы в виде пил, две пунктирные дорожки от реки вверх.

– Хребтом, – Никандр провёл стилем по первой. – Четыре дня. Дорога сухая, открытая, по ней ходили и до нас. Долиной, – он провёл по второй, – два с половиной. По ручью, через брод, потом подъём. Пастух говорит, что телеги там проходят. Когда сухо.

– Сейчас сухо?

– Неделю не было дождя, господин.

Пастуха я позвал сам. Он пришёл, низкорослый, в овчине мехом внутрь, с посохом выше головы, и на ломаной латыни, мешая её со своим языком, повторил то же самое: по долине телеги проходят, когда сухо, вода в броде по колено, подъём крутой, но волы вытянут.

– А люди там есть? – спросил я.

– Козы, – сказал пастух и пожал плечами. – Мои козы.

Я дал ему ещё одну монету. Он поклонился, спрятал её за щёку и ушёл к костру возчиков. Наутро его в лагере не было. Тогда я не придал этому значения: пастухи уходят к своим козам, когда хотят.

Четыре дня против двух с половиной. Войско в горах доедало то, что несли на себе. Цезарь сказал «быстро», а говорить это слово дважды он не любил, это я уже понял.

Я пошёл по рядам и смотрел. Сто двадцать повозок по одной в ряд растянутся на дороге на милю с лишним. Голова колонны будет на привале, когда хвост ещё только снимается. Чем длиннее колонна, тем медленнее она идёт: каждая задержка в голове отдаётся во всём хвосте, как в очереди. Значит, колонну надо сделать короче. Долина в нижней части широкая, пастух клялся, что по дну пройдут две телеги рядом. Пустим в два ряда – колонна станет вдвое короче. Пройдём вдвое быстрее.

Охрана – когорта Тита Вибия. Я узнал у центурионов, сколько в ней людей, и расставил их на табличке. Голова, хвост, середина. В середине длинной колонны всегда самое безопасное место: врагу до неё дальше всего. Значит, середину можно оголить, а людей с неё поставить в голову и в хвост, где удар вероятнее. Голова сильнее, хвост сильнее, колонна короче. Я был доволен. Это был хороший план.

Лутаций смотрел на табличку долго и молчал. Собака лежала у его ног.

– Долиной в этих горах не ходят, – сказал он наконец. – По долинам ходят козы и лузитаны.

– Лузитаны ушли на перевалы, за войском.

– Все?

– Те, что остались, видели мост. Им сейчас не до нас.

– Бальб. – Он сказал это тихо, без злости. – Я хожу по этим горам с войском третью войну. Я так не вожу.

– Ты водишь четыре дня, – сказал я. – А у наместника хлеба на два.

Он больше не спорил. Он кивнул так, как кивают человеку, которого уже не отговоришь, и пошёл ставить своих мастеров по повозкам. Плотники, кузнецы, колёсники ехали с обозом:

чинить колёса и оси в дороге. Я велел поставить их повозки в середину, под защиту обоих концов. Децим помахал мне со своей повозки. Он сидел на мешках, болтал ногами и вязал что-то из обрывка верёвки – я разглядел, что узел был мой, «с провисом».

Тит Вибий выслушал мой план и сказал, что ему нравится. Быстро – это хорошо. Меньше дней в этих проклятых горах – тоже хорошо.

Я взял на себя больше, чем мог унести. Это я понимаю сейчас. Тогда я понимал только, что прав.

* * *

Первый день был моим.

Мы вышли до света и к полудню стояли у входа в долину. Ручей шёл по камням неглубоко, дно было твёрдое, и две колонны повозок шли рядом, колесо к колесу, волю мотали головами и сопели. Колонна, сжатая вдвое, двигалась, как я и думал: без задержек, без криков из хвоста. Возчики сначала ругались, что тесно, потом привыкли. К вечеру мы прошли треть долины.

На привале я ходил вдоль повозок и не мог сдержать улыбку. Я посчитал: если так пойдёт и завтра, к вечеру второго дня мы выйдем на подъём, а к полудню третьего будем у войска. День выигрыша. Целый день, когда войско будет сытым, а не голодным. И этот день сделал я.

– Хребтом мы бы ещё и до перевала не дошли, – сказал я Титу Вибию за ужином. Он сидел на складном стуле у своей повозки, и рабы подавали ему жареного козлёнка на серебряном блюде. – Наместник получит хлеб на день раньше. Можешь так ему и передать: на день раньше.

– Передам, – сказал Тит Вибий и отрезал себе ещё козлятины. – Если получит.

Я засмеялся. Шутка показалась мне смешной.

После ужина я пошёл вдоль повозок мастеров. Децим сидел на дышле и вязал свой узел при свете костра. Получалось у него плохо: петля затягивалась, когда не надо, и не держала, когда надо.

– Не так, – сказал я и показал. – Сначала оставь свободный конец. Длиннее. Ещё длиннее. Узел не должен душить верёвку, он должен давать ей слабинку.

Децим перевязал. Потянул. Петля подалась, провисла и встала.

– Держит, – сказал он с таким лицом, будто ему подарили мастерскую. – Я когда вернусь в Гиспалис, у горшечника за домом ручей. Через него все прыгают, а старик не может. Сделаю ему мостик. С провисом. Пусть ходит.

– Сделаешь, – сказал я.

Он убрал верёвку за пазуху и пошёл спать. Я постоял у его повозки и тоже пошёл. Я был доволен днём, собой и даже Децимом, у которого наконец получилось. Все были при деле, все были сыты, и до войска оставалось полтора дня.

Аполлофан ехал с обозом: в горах у войска кончались повязки и снадобья, он спустился за ними к реке сам и вёз их наверх тоже сам, на отдельной повозке, в ящиках с соломой. Он почти не вылезал из-под своей рогожи, и я забыл, что он с нами. Сейчас он сидел на ступице колеса и смотрел вверх, на склоны долины. Склоны поднимались с обеих сторон круто, поросшие дубняком, в каменных осыпях, и закат красил их верхушки в рыжий.

– Скажи мне, Мостник, – спросил он, не оборачиваясь. – Кто у тебя смотрит за склонами?

– Никто. Головной дозор смотрит вперёд.

– А наверх?

– Наверху никого нет. Лузитаны ушли.

– Как скажешь, – согласился грек. И больше ничего не сказал.

Я отмахнулся. Тогда это было легко: отмахнуться. Я был человек, который построил мост за одну ночь и спас лагерь от поноса. Я был человек, который выиграл день.

* * *

Второй день начался хорошо и шёл хорошо до самого брода.

У брода долина сужалась. Ручей здесь поворачивал, и склоны с двух сторон сходились, оставляя дно шириной шагов в десять. Две колонны повозок вошли в эту горловину рядом и заполнили её от склона до склона. Головной дозор ушёл за поворот. Хвост с охраной ещё не вошёл в горловину. Середина, где ехали мастера и где не было ни одного солдата, тянулась вдоль брода медленно, по колено в воде.

Первый камень я услышал раньше, чем увидел.

Он шёл сверху с грохотом, ломая кусты. Потом второй, третий, и сразу много. Камни били в повозки головной части, в волов, в воду. Головная повозка опрокинулась, вол закричал, и колонна встала.

Потом со склонов полетели дротики.

Они летели в середину. В нашу середину, где не было ни одного щита. Возчики падали с передков. Волы бились в упряжке и тянули в разные стороны, повозки сцеплялись колёсами. Кузнец с соседней повозки, которого я знал только в лицо, получил дротик в спину и свалился в воду.

Мой конь встал на дыбы. Я не удержался и слетел с седла прямо в ручей, ударился плечом о камень, хлебнул воды. Вынырнул. Рядом, у колеса, сидел возчик и держался за бедро, из бедра торчало древко. Я схватил его за ворот и потащил под повозку. Он был тяжёлый и кричал. Под повозкой было тесно, мокро и темно, сверху по доскам стучало, как по крыше в ливень. Я лежал в воде, прижимая к себе чужого человека, и слушал этот стук. Сердце билось так, что отдавалось в зубах. Это тело было молодым и здоровым, и оно очень хотело жить. Я выполз из-под повозки, потому что лежать там дальше было страшнее, чем вылезать.

Я обернулся к голове колонны. Там был Тит Вибий и полкогорты. Они уже бежали назад, на помощь, и не могли добежать. Две колонны повозок стояли рядом от склона до склона, колесо к колесу, и между ними и склонами не оставалось прохода. Солдаты лезли по повозкам, через мешки и через бьющихся волов, падали, лезли снова. С хвоста было то же самое.

Я смотрел на это и понимал, что сделал. Я сделал колонну вдвое короче и сделал её непроходимой. В голове и в хвосте у меня стояли солдаты, которые не могли дойти до середины. В середине стояли мастера, которых я поставил туда, потому что там безопаснее всего. На дороге с полем по обочинам так водить можно, там голову и хвост видно, а середину не достать. Здесь по обочинам были склоны, и середина оказалась ближе всего к врагу.

* * *

– Повозки в круг! – заорал я. – Волов выпрягать! Повозки боком, дышло к задку!

Меня не поняли. Потом понял Лутаций. Он уже стоял на ближней повозке с топором, а внизу, у колеса, рычала собака. Он заорал то же самое на солдатском языке, с такими словами, каких я от него раньше не слышал, и мастера начали делать.

Я упёрся плечом в колесо рядом с двумя плотниками. Колесо было выше меня, обода в засохшей глине, спицы скользкие. Мы толкали, и повозка не шла. Потом подбежал третий, и она пошла, закрипела, развернулась боком к склону. Плечо у меня горело. Ладони снова лопнули, и я не чувствовал этого, пока не увидел кровь на спицах.

Мы выпрягали волов под дротиками. Резали постромки, гнали волов в воду, разворачивали повозки руками. Грузёная повозка весит как два вола, и разворачивать её поперёк ручья,

когда сверху летят камни, в здравом уме никто бы не стал. Мы разворачивали. Шесть повозок, восемь, десять. Мы ставили их боком, дышлом к задку соседней, и между ними кидали мешки с зерном, и за мешками прятали раненых и тех, кто ещё не был ранен. Получилась стенка, неровная, дырявая. Дротики стали бить в мешки и в доски. Пару раз лузитаны спускались, пытались перелезть, и их встречали топорами. Один перелез. Он спрыгнул с мешков прямо передо мной – молодой, моложе Децима, в рубахе из грубой шерсти, с коротким мечом и маленьким круглым щитом. Лицо у него было мокрое, рот открыт. Он смотрел на меня, а я на него, и ни один из нас не знал, что делать. Потом из-за моего плеча вышел Лутаций с топором, и лузитан упал. Лутаций даже не остановился, пошёл дальше вдоль круга. Я стоял и смотрел на мальчишку у своих ног. Меня не вырвало. Это меня потом испугало больше всего.

Круг держал. Хорошее решение, только опоздавшее. Правильное решение было у реки, когда Лутаций говорил «хребтом».

Я не знаю, сколько это длилось. Когда Тит Вибий со своими пробился наконец по склону в обход и ударил наверх, лузитаны ушли сразу. Как будто их и не было. Остались опрокинутые повозки, мёртвые волы в ручье и красная вода у брода.

Децима я нашёл под его повозкой. Он лежал на боку, подтянув колени, как спят дети, и под ним в воде ещё расходилось бурое пятно. Дротик вошёл под ключицу. Обрывок верёвки, на котором он учился вязать мой узел, так и остался у него в руке.

Я сел рядом с ним в воду. Посидел. Встать сразу не получилось.

Собака Лутация лежала у колеса соседней повозки и скулила. Камень разбил ей заднюю лапу. Лутаций стоял над ней на коленях и гладил её по голове, и руки у него, большие, исцарапанные, в смоле, двигались так осторожно, будто он трогал ребёнка.

Мы считали до вечера. Девять мастеров. Шесть солдат. Одиннадцать повозок с хлебом сгорели или опрокинулись в ручей. Двадцать три вола. Хлеб в остальных повозках был цел.

День, который я выиграл, я потерял у брода. И ещё один сверху.

* * *

К войску мы пришли на пятый день к полудню. Позже, чем пришли бы хребтом.

Цезарь вызвал меня сразу. В претории никого не было, кроме него и раба со светильником. Это было хуже, чем если бы там стояли все трибуны. Перед всеми он мог бы кричать. Наедине он мог делать что угодно.

Он не кричал. Он выслушал меня, не перебивая, и я рассказал всё: про карту за кувшин вина, про две колонны, про середину без охраны, про склоны. Я не стал говорить про Лутация, который был против. Это было бы правдой, но правда в эту минуту звучала бы как попытка спрятаться за чужую спину.

– Девять мастеров, – сказал Цезарь, когда я кончил. – Шесть моих солдат. Одиннадцать повозок. Повозки я спишу на лузитан. Солдат – на войну. Мастеров – на тебя.

– Я понимаю.

– Нет. Ты пока не понимаешь, но поймёшь. – Он помолчал. – Семьям мастеров заплатишь сам. Из своего. По сто денариев на каждого.

– У меня нет девятисот денариев.

– Это твоя забота, не наша. – Он отвернулся к столу. – Мастерами командуешь, как командовал. Я никого не снимаю за одну ошибку. За вторую – сниму вместе с головой. Ты мне ещё нужен, Бальб. Иди.

Я вышел. Снаружи было темно и холодно, в горах ночью всегда холодно, даже в мае. Я стоял у претория и думал о том, что он мог меня выгнать при всех, мог высмеять, мог отправить обратно в Кордубу считать подати. Он не сделал ничего. Он оставил меня на месте и назначил цену. Ровно такую, чтобы я её запомнил.

Девятьсот денариев. У меня было пятьдесят восемь.

Коня у меня купил Тит Вибий. Я пришёл к нему сам, и он сразу всё понял: по моему лицу, по тому, что я привёл коня в поводу и пришёл без раба.

– Конь хромает, – сказал он, не глядя на коня.

– Не хромает.

– Будет хромать. Горы. – Он отхлебнул вина. – Сто.

Конь стоил триста, и мы оба это знали. Я сказал двести. Он сказал сто двадцать и напомнил, что у брода мою середину вытаскивали его люди. Это было правдой, и я сказал сто пятьдесят. Он сказал сто тридцать и что больше никому в этих горах мой конь не нужен. Это тоже было правдой. Я согласился. Тит Вибий отсчитал деньги сам, медленно, по одной монете, и каждую монету клал мне в ладонь так, будто подавал милостыню. Он отыгрывал переправу. Я дал ему отыгаться. Это стоило мне ста семидесяти денариев, и это было недорого. Нож в ножнах с серебряной оковкой взял за сорок денариев маркитант, тот самый, с вином, – он догнал войско с телегой и теперь продавал всем всё втридорога, а покупал за полцены. Перстень с кораблём я снимать не стал: им Бальб запечатывал письма, без него я был никто.

Не хватало шестисот семидесяти двух. Их мне дал в долг Никандр.

– Из своих, господин, – сказал он, отсчитывая. – По одной сотой в месяц.

– Как у людей Красса.

– Чтобы ты не думал, что я тебя жалею, господин. – Он поклонился. Насмешки в этот раз в поклоне не было, или я её не заметил.

Девять кучек по сто денариев он сложил на плаще, и каждую я завязал в отдельный узелок и отдал Лутацию, потому что Лутаций знал, где чья семья. Девять узелков. Децим стоил столько же, сколько кузнец, которого я знал только в лицо. Столько же, сколько два вола или треть моего коня. Сто денариев – это половина того, что Децим копил на мастерскую. Два года он собирал бы на вторую половину. Теперь собирать было некому.

Децим женат не был, и его узелок Лутаций отправит отцу в Гиспалис. Я велел Никандру дописать к узелку ещё одну строку. Он спросил какую. Я сказал: пусть отец передаст дочери горшечника, что Децим её ждал. Никандр написал и ни о чём не спросил.

* * *

Ночью я пошёл к костру Лутация.

Мастера сидели у огня молча. Когда я подошёл, никто не встал. Лутаций стоял чуть в стороне, спиной к огню, и смотрел в темноту, на горы. Он всегда стоял, пока не сядут другие. Я это заметил давно, ещё в первую ночь у реки, и не понимал, зачем. Сейчас я понял: старшина садится последним, когда его люди уже сидят и все целы.

Собака лежала у его ног с перевязанной лапой. Повязку, я видел по узлу, наложил Аполлофан.

– Лутаций, – сказал я. – Ты был прав. Я был не прав. Это я снял охрану с середины. Это я поставил твоих людей туда, где их убили. Это моя вина, не твоя и не Вибия. Я хочу, чтобы твои люди это знали. От меня, не от тебя.

Мастера подняли головы. Лутаций повернулся. Он смотрел на меня долго, как смотрят на доску, прежде чем решить, годится она в дело или в печь.

Я сел у огня, на бревно, потому что ноги больше не держали.

Лутаций постоял ещё немного. Потом подошёл и сел рядом со мной. Не напротив, а рядом, плечом к плечу. Собака подползла и положила голову ему на сапог.

– Децим, – сказал он, глядя в огонь. – Говорил, ты обещал научить его вязать с провисом.

– Обещал.

– Научи других, – сказал Лутаций. – Децим уже не научится.

Мы сидели так до глубокой ночи. Никто ничего больше не говорил. Мастера по одному ложились спать, а мы сидели.

Утром в лагерь приехал гонец из Рима, грязный, на загнанной лошади, с бельмом на левом глазу. Цезарь читал письма до полудня. В полдень он вызвал меня и сказал одно число.

Восемьсот тридцать талантов.

Глава 5. Восемьсот тридцать талантов

– Восемьсот тридцать талантов, – повторил Цезарь и бросил на стол связку писем. – Ты умеешь считать, Бальб. Сосчитай.

Был полдень, жаркий, горный, в претории пахло нагретой кожей и воском. Письма лежали на столе веером: одни уже вскрытые, с надломленными печатями, другие ещё целые. Гонец с бельмом на левом глазу стоял у входа и ждал, не отпустят ли его поесть. Его не отпустили.

Я сосчитал. Талант – шесть тысяч денариев. Восемьсот тридцать талантов – почти пять миллионов денариев. Двадцать миллионов сестерциев. Мои двести шестьдесят тысяч рядом с этим были мелочью.

– Двадцать миллионов сестерциев, – сказал я.

– Это то, за что поручился Красс, – сказал Цезарь. – Когда мы уезжали из Рима, кредиторы стояли у ворот и держали наш багаж. Красс вышел к ним и сказал: этот человек мой. Они отпустили. Теперь они пишут Крассу, а Красс пишет нам.

Он сказал это легко, почти весело, будто речь шла о чужих долгах. Потом сел, вытянул ноги и посмотрел на меня снизу вверх.

– Я как-то сказал, что мне нужно двадцать пять миллионов, чтобы иметь ровно ничего. Это была шутка. Мой вольноотпущенник, который ведёт счета, проверил её и заплакал: шутка оказалась точной.

Я его понимал. Двадцать пять миллионов, чтобы иметь ноль. Я знал людей, которые жили так годами: должны всем, строят дальше, потому что если остановятся, рухнут сразу. Я и сам так жил последние лет десять. Только у меня это были миллионы рублей, а не сестерциев, и за мной никто не стоял.

– Война платит, – сказал Цезарь. – Лузитаны богаты, у них скот, серебро, золото в реках. Но война платит, когда она кончается. А наша не кончается.

Он вытащил из-под писем табличку с картой. На этот раз карта была морская: берег, изрезанный бухтами, и в стороне от берега – неровное пятно.

– Они ушли к морю. Пока ты вёл обоз, главные их силы спустились с гор и ушли на этот остров. От берега до него – полдня на вёслах. Вода, рыба, скалы. Они там будут сидеть, пока мы не уйдём, а когда уйдём, вернутся. И всё начнётся сначала.

– Плоты? – спросил я.

– Плоты мы уже пробовали. Без тебя. – Он сказал это без упрёка, просто как факт, и от этого стало хуже. – Я послал к берегу легата с тремя когортами. Море не река. Мы переправили людей в отлив, а в прилив вода отрезала их от берега. Половину перебили на камнях. Один солдат доплыл обратно, без щита. Я его наградил. Остальных наградить некому.

Отлив, прилив. Океан. Здесь, на краю обитаемого мира, римляне воевали с водой, к которой так и не привыкли: она ходит туда-сюда два раза в сутки. Плот, который в реке держится на якоре, в океане за шесть часов окажется то на камнях, то в открытом море.

– Нужны корабли, – сказал я.

– Нужны. – Цезарь кивнул. – Кораблей у нас нет. Корабли есть в Гадесе. У гадитанцев лучшие корабли по эту сторону Столпов, а может, и по ту. И гадитанцы не дают их даром даже богам.

Он смотрел на меня и ждал. Я понимал, чего он ждёт. Я был гадитанец. Я был его человек. Я был должен ему за девять мастеров.

– Корабли за долю, – сказал я. – Гадес даёт суда с командами. Мы платим долей добычи с острова и с похода. И ещё – льготами: гадитанские купцы торгуют в портах, которые мы возьмём, без пошлин. Год. Или три.

– Два, – сказал Цезарь.

– Два, – согласился я. – И договор Гадеса с Римом. Гадес всегда боится за свой договор. Если наместник письменно обещает его соблюдать, Гадес даст больше.

Цезарь улыбнулся.

– Обещать мы любим, – сказал он. – Особенно письменно.

* * *

Торговаться о себе было труднее, чем о кораблях.

– Мне нужно право говорить от твоего имени, – сказал я. – Письменное. С печатью. Гадитанцы не дадут ни одного весла человеку, который приехал просить от себя.

– Получишь.

– И деньги. На первую плату командам, на задаток.

– Не получишь.

Он сказал это так же легко, как «получишь». Я ждал продолжения. Его не было.

– Как я буду торговаться без денег?

– Как мы торгуемся с Крассом, – сказал Цезарь. – Обещаниями. Обещай что хочешь, от нашего имени. Мы потом решим, что из этого исполнить. – Он помолчал. – Только не обещай больше, чем мы сможем отдать. Это единственное правило.

– А сколько вы сможете отдать?

– Это ты мне скажешь, когда вернёшься.

Он позвал раба с табличками и стал диктовать. Я стоял и слушал, как на табличке появляются слова, которые делают меня Цезарем в Гадесе. Не самим Цезарем, конечно. Его тенью, которая может обещать, но не может платить.

Аполлофан сидел в углу на своём табурете и ел финики из глиняной миски. Он, как всегда, оказался там, где интересно, и никто его не звал. Цезарь закончил диктовать, взял из связки писем следующее, ещё запечатанное, и повертел в руках. Письмо было перевязано льняной нитью, на узле сидела большая печать красного воска, и я разглядел на ней оттиск: голова в шлеме, а вокруг мелкие буквы.

– От Красса, – сказал Цезарь и уже взялся за нить.

– Можешь не вскрывать, – сказал Аполлофан из своего угла.

Цезарь поднял на него глаза.

– Красс пишет, что кредиторы подождут до осени, но не дольше, – сказал грек, вынимая косточку изо рта. – Что Помпей опять жалуется в сенате, что его ветеранам не дают земли. И что Катон, – он положил косточку рядом с другими, – назвал тебя в сенате банкротом, который поехал грабить провинцию. Разве не так?

Цезарь медленно разрезал нить. Сломал печать. Развернул. Читал недолго. Потом поднял бровь и посмотрел на грека так, как смотрят на собаку, которая вдруг заговорила.

– Почти слово в слово, – сказал он. – Про Катона даже теми же словами. Откуда?

– Разве трудно угадать, что пишет Красс, когда он пишет должнику?

– Угадать – нетрудно, – сказал Цезарь. – Угадать слово в слово – трудно.

Грек улыбнулся и развёл руками.

– Боги любят толкователей, – сказал он.

Цезарь засмеялся и бросил письмо на стол. Тема была закрыта.

Я её не закрывал. Я стоял у стола и смотрел на сломанную печать: красный воск, голова в шлеме, льняная нить. Потом посмотрел на гонца с бельмом у входа. Гонец смотрел в пол. Я запомнил и печать, и гонца, не очень понимая зачем.

Грек не мог знать, что в письме. Письмо было запечатано. Значит, он угадал. Он умный, он знает Красса, он знает, что творится в Риме, он мог угадать. Слово в слово про Катона

угадать нельзя. Это я понимал. Как он это сделал, я не понимал совсем, и от этого у меня похолодели руки.

Если этот человек знает то, чего не может знать, то кто он? И если он знает, что будет с Цезарем, знает ли он, что будет со мной?

* * *

Выехали мы через два дня: я, Никандр, Абдмелькарт и четверо всадников охраны. Мне дали казённого мула. Мул был серый, старый и упрямый, и на нём я чувствовал себя ровно тем, кем был: человеком без коня и без денег, с письмом, которое разрешает обещать.

В первый вечер, на ночлеге у дороги, я сел с Никандром считать.

– Что может дать Гадес? – спросил я.

– Кораблей, господин? – Никандр открыл табличку. – Если город захочет, десять больших. Может, двенадцать. С гребцами и кормчими. Если захочет храм – ещё пять. Если захочет Бомилькар – то город захочет.

– Почему?

Никандр посмотрел на меня поверх таблички. Посмотрел ровно столько, чтобы я понял: этого вопроса Бальб задавать не должен.

– Потому что половина кормчих в Гадесе должна Бомилькару, господин, – сказал он наконец. – А вторая половина хочет у него занять.

Абдмелькарт возился у очага с нашим ужином. Я дождался, пока Никандр уйдёт спать, и сел ближе к огню.

– Расскажи мне про Бомилькара, – сказал я.

Старик удивился. Потом, вспомнив про мою голову, кивнул.

– Что рассказывать? Бомилькар – это Бомилькар. Рыба, соль, соус, корабли. Ему тут должны все, кто хоть раз занимал. – Он помешал в котле. – Тебя он взял в дом, когда твой отец умер и долги отца пришли к вашим воротам. Тебе было двенадцать. Он заплатил все долги, все до одного. Растил тебя вместе со своей. Платил за твою дорогу, когда ты пошёл к Помпею. Платил за твой дом в Кордубе.

– Со своей – это с кем?

– С Имилькой. С дочерью. – Старик хмыкнул. – Маленькая Имилька. Ты её звал «рыбкой», а она таскала тебя за ухо. Она тебя била, а ты ей носил ракушки с мола. Неужели и этого не помнишь?

– Помню, – сказал я. – Ракушки помню.

Я не помнил ничего. Ни ракушек, ни уха, ни девочки. Зато теперь я понимал, что такое двести тысяч без процентов. Это был не заём. Это был человек, который вырастил Бальба, заплатил за него всё, что можно было заплатить, и ни разу не попросил проценты. Такой долг не отдают деньгами. Такой долг вообще не отдают. Его носят, пока не упадёшь.

* * *

На десятый день пути мы спустились в долину Бетиса, и я увидел провинцию.

Сверху, с дороги, она была красивая: оливы рядами, пшеница по пояс, белые усадьбы на холмах. Вблизи она была в долгах. Это я понял на первом же постоялом дворе, ещё до того, как увидел ростовщика. Хозяин двора жаловался, что поля вокруг принадлежат уже не тем, кто их пашет. Возчик у колодца жаловался, что за вола, которого он купил в долг, платит третий год, а вол уже умер. Пастух жаловался на всё сразу. Никто не жаловался на римлян вслух. Все жаловались на деньги.

На следующем дворе, в Илипе, я увидел, как это выглядит.

За столом во дворе сидел ростовщик, толстый римлянин в хорошей тунике, с перстнями на трёх пальцах, и перед ним стоял крестьянин. Крестьянин был иберийский, тёмный, жилистый, с руками, в которые земля въелась так, что их уже не отмыть. Рядом с ним стояла девушка лет пятнадцати, тоненькая, в чистом платье – видно, лучшем, какое было в доме. Она смотрела в землю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.